

А. Гедеонов
В ЛЕДЯНОЙ ТУНДРЕ
(Из поездки к чукчам)

Это было в начале ноября 1894 года.

Полярные сумерки уже надвинулись, солнце уже не показывалось с неделю, а здоровенный, жесточайший мороз расправил свои ледяные крылья и вместе с тьмой покрыл черным, печальным покровом мрачный лес, белоснежную поверхность земли и все видимое окрест пространство.

Холодно и жутко. Это не тот бодрящий, хороший мороз, на котором любо дышать, лицо румянится, который знобит немного тело, но душе дает какое-то особенное веселье и приятную теплоту.

О, нет! Этот мороз колет, режет, щиплет, студит каждый ваш палец до ногтя, забирается в кровь, в мозг и сердце, производя страшную жгучую боль и вызывая из груди тяжелый, прерывистый кашель.

На усах, бороде, бровях и ресницах, от мгновенно замерзающего пара дыхания, образуется снеговая куржа, совершенно преображая, до неузнаваемости, ваше лицо.

Несколько оседланных, малорослых якутских лошадей были наготове. Они понуро стояли, привязанные к столбу, покорно подставив свои бока поднимавшемуся ветру, вздувавшему их густую, длинную шерсть.

— Ну, готово, — сказал мой проводник, почтенный якут, — одевайся. Сегодня сделаем тридцать верст. Там, на озере должны быть жители, у них и заночуем.

Одев меховые сапоги (торбаса) поверх двух пар волчьих чулок, натянув на себя оленьи, мехом вверх, шаровары, а затем длинную рубаху из тех же оленьих шкур с капюшоном, я обернул шею длинным, змеистым ошейником, искусно собранным из хвостов полярной белки, взял в руки шапку и рукавицы.

Якуты чинно сели, затем старший из них, хозяин дома, встал, а за ним и все остальные.

Присутствующие набожно крестились, шепча якутския слова, ничего общего с христианской молитвой не имеющие.

Мы вышли. Лошади были навьючены. Оставалось сесть и поехать.

Полярная ночь сгущалась, хотя был только третий час дня, и на небе стали вырисовываться звезды.

Мы въехали в узкую лесную тропу. Тишина и безмолвие. Изредка хруснет в лесу что-то от движения поднявшегося зверя или зашуршит снег от упавшей ветки, да где-то вдали каркнет полярная ворона.

А стужа стала донимать. Гневный холод, казалось, и не думал щадить.

— Далеко ли до жилья? — спрашиваю своего проводника.

— Еще только половину проехали, — флегматично отвечает он, покачиваясь на седле, и продолжает импровизировать свою песню:

«Русский человек умен, у якута ум короток; у женщины волос длинен, а ум короток. Хорошо умному человеку: он будет почетен и богат... Лес молчит, озеро молчит, кони идут... Я еду с русским, умным, богатым и почетным господином. Приедем к жителям, будем есть масло, строганину и пить чай. У русского тойона есть сахар, — он даст мне кусочек...»

Я слушаю пение якута, а вместе с тем мысли мои далеко-далеко от действительности. Думаю о предпринятом путешествии, сравниваю природу севера с родными полями и нивами, вспоминаю об иной жизни, иных людях и иных интересах, а холод делает свое дело и прерывает цепь моих мечтаний.

— И что меня понесло в эту проклятую тундру? Не вернуться ли? — думаю я, трясясь в высоком якутском седле.

Но, чу! залаяла собака, а ночную тьму вдруг, как по волшебству, осветил целый сноп света из открытой трубы якутского жилья.

— Приехали, — говорит проводник. — Иди в дом. А я лошадей уберу. Сахар внести ли? — робко спрашивает он.

Я раскрыл маленькую, узкую дверь, из куска коровьей шкуры, и вошел в небольшую, грязную юрту.

При виде моем обитатели юрты всполошились.

— Окси! (восклицание удивления). Русский приехал... господин...

Мгновенно большой медный чайник очутился у огня. а старуха-якутка стала суетиться, ежеминутно выбегая на двор.

Она поставила на стол большую деревянную тарелку, до верху полную строганины, и другую, уложенную правильно нарубленными кусочками мерзлого масла.

— Кушай, господин русский, — сказала она, сложив руки и низко кланяясь.

Мы с проводником принялись с жаром уничтожать это сырье, после чего старуха поставила две до ужаса грязные чашки, намереваясь налить в них чай.

— Вытри, старуха, чашку. — сказал я, брезгливо осматривая ее.

Старуха взяла чашку, лизнула ее языком по всем направлениям снаружи и внутри и, подняв край своей верхней рубахи, тщательно вытерла.

— Теперь хорошо, — сказала она, иронически улыбаясь. — Я знаю: русские любят, чтоб все было чисто...

Чай выпит. Приятное тепло разливается по телу; забыты все невзгоды сегодняшнего дня, и мне делается стыдно за свое малодушие, за то, что, решившись на трудную экскурсию. я в первый же день иду вспять. Точно холод и тьма, голод и неудобства для меня новы и я уже не притерпелся к ним.

Здесь, у якутов. мы выработали план нашего путешествия. Мы решили пробраться раньше в тундру восточную, к речкам Большой и Малой Чукочьим,

а затем, перерезав их, идти на запад, посетить чукчей западной тундры, побывать в русском поселке у устья реки Алазеи, откуда до берега океана 10 верст.

Опять потянулась дорога, опять бесконечные озера, непроходимые леса. День за днем все тоже и тоже.

Но вот лес редееет, становится мельче. Стройная, широковетвистая лиственница. фантастически убранная снегом и капризом мороза, сменилась низкорослыми, жидко-ветвистыми тонкими, далеко друг от друга стоящими, с крючкообразно-загнутыми верхушками деревьями, местами она стелется уже по земле. Наконец, пропадает всякий признак растительности, и глазам открывается безграничное, однообразно-мертвенное пространство тундры. Точно саваном оделась природа; точно могильная тишина окутала нас, когда мы стали углубляться внутрь её.

Мороз страшный. Он, что называется, трещит, но небо необыкновенно лазурно и ясно. Дыхание, замерзая у самого рта, окутывает нас целым облаком пара, производя вокруг странное шуршание, на подобие тронутого вилами сена. Воздух чист и прозрачен. Кругом мертвая тишь и широкое лицо волнообразно-холмистой, страшной, как безбрежный океан, тундры с полнейшим отсутствием следов жизни и дороги. Только кое-где торчат одинокие сопки-холмы, остроконечные, как головы сахару, кое-где попадаются, точно оазисы в пустыне, возвышенные островки с глубокими залежами торфа, намекающего на иное прошлое тундры. И странное впечатление производят поднимающиеся от этих островков в высь к ясному небу тонкие, ровные, как столбы и ничем не колеблемые струи дыма. Это горит торф, и мой проводник уверяет, что это горение вечно, что дыма иногда бывает не видно за ветром и непогодой, но что внутри этих островков неиссякаемый источник жара и огня. Он уверяет также, что в тундре, ближе к морю, есть горы, исторгающие по временам огонь и дым, причем чувствуется легкое колебание почвы, и приписывает это подземному богу (алара абагы); он говорит, что в этих горах промышленники мамонтовой кости не раз находили железо в сплавленном виде.

Дорогу перерезает бесчисленное множество следов диких оленей и их спутников, степных волков. Все разнообразие заключается в том, что откуда-то вдруг, точно из-за куста, вынырнет олень и, как шальной, бросится опроретью от нас, грациозно неся на своей голове громадные, ветвистые рога. И снова мы одни в необъятном, неизмеримом пространстве, по утрам тонущем в густой мгле-тумане. Куда ни бросишь взор, всюду бесконечный снежный океан, в нем как бы потерялись небо и земля; точно Божественная рука Творца не коснулась этой части вселенной и она пребывает еще в хаотическом состоянии.

Чувствуется какой-то суеверный страх, чувствуешь, что находишься в полной власти всемогущей, неизмеримо-грозной и непонятной, как сфинкс, природы. Сам себе кажешься ничтожнейшей снежинкой, которую ей ничего не стоит взять и смешать с остальным снежным пространством. Холодный, жесткий мрак леденит ум, члены немеют от усталости, все тело пробирает насквозь дрожь, она как будто в крови, во внутренностях.

Мы уже неделю в пути. У нас семь лошадей, нагруженных товаром, который везет мой приятель, якут, для чукчей, а отчасти съестными припасами, заключающимися в масле и рыбе.

Мы ночуем по брошенным на берегу озер промышленным балаганам, где готовим кипяток на дровах, оставляемых запасливыми жителями севера у жилья, кой-чем закусуваем и, несмотря на нетопленный, щелястый дом, прекрасно засыпаем.

На десятый день мы приближались к озеру Кругомата. Здесь целая группа громадных озер, богатых прекрасной, крупной и жирной рыбой и издавна влекущих к себе якутов. Озера эти, расположенные в очень близком друг от друга расстоянии, иногда, в зависимости от обилия тающих снегов, от количества выпадающих дождей и весеннего разлива рек, соединяются и представляют тогда море, по которому плавают инородец в своей утлой лодочке.

На высоком крутом берегу Кругоматы стоит крохотная, низкая, на половину вросшая в землю, избушка. Вход в нее низок и узок. Здесь мы уже застали несколько человек промышленников: все они приехали на собаках, одни мы рискнули двинуться на лошадях, надеясь на хороший подножный корм, представляющий в тундре мелкую, травяную поросль, которую лошади выкапывают из-под снега и очень любят за её солоноватый вкус.

В избе было холодно и тесно, приходилось ступать по человеческим ногам. В ней жила семья промышленника, состоявшая из трех взрослых и двух детей, да кроме нас двух, еще четыре человека приезжих.

Никогда не забуду, что перенес я на берегу этого озера, где мы были заперты пургой на пять дней.

К вечеру непогода загнала к нам еще человек до десяти промышленников и в нашей норе образовалась каша; протянуть ноги нечего было и думать, все сидели на корточках и в таком положении спали. Было отчаянно холодно, пар стоял в воздухе, о том, чтобы снять верхнее платье никто и не помышлял, все были в торбасах и рукавицах, нашу пищу по прежнему составляла мерзлая рыба. Спасал горячий чай; я уж его не жалел и поил своих невольных товарищей вдоволь. Якуты же, при свете рыбьего жира, как ни в чем не бывало, играли в карты: им это положение было в привычку.

Все пять суток пурга безумствовала, и я не раз опасался, что нашу игрушечную избенку, которая казалась одиноким грибом на широкой поляне, ветер расшатает, сорвет и разбросает по озеру. Но избушка на диво устояла, и, промучившись в ней пять суток, мы снова тронулись в обратный путь, на запад, так как на Кругомате мы узнали, что чукчей здесь дожидаться незачем, что, будучи на полпути к речке Чукочей, они вернулись к океану, благодаря полученным сведениям, что по берегу моря появилось невидимо сколько песцов.

Итак мы опять трясемся на наших усталых лошадях. С приятелем якутом мы часто беседуем о том, о другом, но чаще всего о «тамошней, далекой стороне», т.е. о «городе Россия».

Одним утром, поглядывая на облачное небо, он спросил меня:

— А знаешь ли ты, господин Александр, какой сегодня день? Рождество сегодня вечером начнется. Хорошо бы чукчей найти: отдохнуть бы... А пожалуй, что найдем. Ду? Помните, что сказал нам поторговщик, которого мы встретили позавчера? По этому расчету мы должны сегодня доехать до той речки, где чукчи. Разве снялись? И тогда найдем. Здесь я бывал не раз: вот уж 20 лет хожу в тундру — видишь, без тунгуса — один путь угадываю. Только бы пурга нам не помешала. А то найдем...

Найдем в таборе чукчей? — думаю и я, и не замечаю, что мой приятель приуныл, что вокруг меня картина начинает постепенно меняться, пока меня не выводит из задумчивости какой-то странный, зловещий свист.

— Беда! — говорит мой товарищ. — Пурга идет. Беда! дороги нет. Куда поедем?

Белый вихрь показался сразу, окутав все видимое облаками снеговой пыли. Взбушевалась страшная стихия, загудел буйный ветер. Яростно и пронзительно понеслась с жалобным воем и стоном ледяная пыль. Метет она и веет. Порой кажется, что нет ни неба, ни земли, ни воздуха, ни пространства; порой страшный свист прорежет воздух, на минуту он прояснится, глянет хмурое, белое небо, и кажется, что облако устремится на облако, туча грянет на тучу — они сталкиваются, ударяют друг друга, грохочут и шипят, а ветер сердито воет, стонет и бушует, и несутся куда-то стремглав снежные массы...

Домового ли хоронят.

Ведьму-ль замуж отдают?

А тьма все гуще, все темнее. Лошади бродят, поминутно останавливаются, или, отбрасываемые в сторону бешеным вихрем, скользят по обнаженной от снега, гладкой, как зеркало, поверхности озера.

Мне положительно делается страшно. Чувство полной беспомощности, полной зависимости от этой необузданно-дикой тундры туманит мозг и

вызывает болящую грусть за человека, заброшенного и отданного во власть непреборимого урагана.

Сколько времени продлится пурга? Кто может это сказать? Может быть, до завтрашнего утра стихнет, а может стать, и надолго затянется.

Боязнь отбиться от проводника — потерять последнюю надежду на спасенье — заставляет меня просит его привязать повод моей лошади к его седлу, что он охотно исполняет. Все надежды, все помыслы мои устремлены на него. Я лихорадочно слежу за каждым его движением, за каждым поворотом его коня.

— Ничего, не бойся, — утешает он меня. — Может быть, встретим какого-нибудь промышленника. Чукча или тунгус найдет нам дорогу. А не то — где-нибудь выберем край озера и заночуем до утра. Не бойся, не замерзнешь. Я тебя укутаю.

Мы останавливаемся. Якут пристально всматривается в черную бездну, силясь что-нибудь разглядеть, но и его опытный глаз ничего не различает в этом хаосе диких завываний снежной бури.

— Слезай, господин, с коня, — покорно говорит он. — Дальше нельзя идти. Здесь будем лежать. Мимо этого озера идет дорога на речку, а на речке этой должны быть чукчи.

Развьючив коней, мы сгрудили седла, нашу поклажу и с помощью двух, захваченных с собою тонких жердей, на которые натягиваем две большие олени шкуры, защищаем себя от непогоды.

Теперь надо отрыть снег, достать из-под него мелкую древесную поросль и вырубить огня. Мой проводник делает все это ловко и быстро. Но предательский, бешеный ветер мгновенно срывает нашу защиту, а мокрый тальник не горит, а тлеет.

Зги не видать, шум подавляющий, ветер ревет, буря хлещет, а между тем, якут отвернул свой капюшон и, приставив ухо к подветренной стороне, чутко прислушивается к чему-то.

— Человек ли идет, дикий ли олень бежит, — подумал он вслух, и на лице его мгновенно изобразилась радость.

— Люди идут, — решил он бесповоротно, — чукчи.

— Отчего же я не слышу? — робко спрашиваю я. — Нет, ничего. Никто не идет...

Мне хочется слышать противоречие, хочется, чтоб меня убеждали, хотя я твердо уверен, что мой вожак не ошибется и не скажет таких «больших слов», по выражению якутов, какие сказал он мне сейчас.

— Смотри! Видел? Что-то зачернело... Слава Богу, — крестится якут. — Должно быть недалек и табор. О, Господи помилуй! Большой Господин (Бог) с небесных облаков послал нам спасенье для праздника.

Но глаз мой не зорок, я все-таки ничего не вижу и лишь в момент, когда трое маленьких санок с чукчами равняются с нами, я убеждаюсь, что это не фантазия, не галлюцинация воображения якута.

Передний чукча остановил своего оленя и слез с саней.

— Здорово, — сказал мой якут.

— Здорово. Лежите?

— Лежим.

— Куда идете?

— К вам идем, чукчей ищем.

— Кга, — сказал дикарь. — Не знаю, как дойдем. На лошади нельзя. Наши тут, должно быть, недалеко. Коней надо бросить. Пурга стихнет, придем за кладью. А водку не оставляй, — прибавил он, обращаясь к якуту, признав в нем расхожего купца.

— Э-эй, — как-то сладострастно протянул он, — хорошо бы теперь водки, да трудно налить. Ну, садись верхом на санки, — пригласил он меня.

— Русский?

— Да, русский.

— Не знаю дороги. Дороги нету. Волка не видно, значит и наши далеко. Десять верст будет.

Мы тихо двинулись на-ощупь. Заметно было, что передовой чукча не твердо уверен, какое надо взять направление. Пройдя с версту, он остановил оленя, быстро соскочил с саней, ногами разгреб снег и, припав ничком на землю, ощупывал что-то рукой. Пролежав так несколько секунд, он поднялся, посмотрел вокруг себя и, достав трубку, раскурил ее. Теперь он имел уж вполне спокойный вид. Это было заметно по его уверенному тону и по постороннему, для данных обстоятельств, разговору, который он начал со мной через переводчика якута.

— Русский! — сказал он, — ты море видел, был на море?

— Видел.

— На тундру похоже?

— Очень. Вода и небо.

— Берега нет, не видно?

— Берега нет, — отвечал я неохотно, не будучи расположен к разговору, в то время, как зубы мои выделяли трели, и я беспрестанно дул на руки, силясь согреть их.

— Как же дорогу находят? — не отставал дикарь.

Я, как умел, удовлетворил любопытству его, рассказав о компасе, о стрелке, неизменно указывающей на север.

Чукча обрадовался, как ребенок. Энергично схватив меня за рукав, он жестом пригласил меня встать с саней.

— Нагнись, — сказал он мне, — ощупай траву.

Я повиновался, но ничего не понял.

Тогда к нам пришел на помощь мой проводник. Оказалось вот что. Благодаря преобладающим северным ветрам в тундре, трава имеет постоянный уклон к югу.

— Видишь, это значит полуденная сторона, а вот эта значит полуночная, здесь солнца восход, а здесь закат. Теперь речка, на которой мы стоим, находится на полуночной стороне. Вот туда и поедем.

И мы, действительно, круто повернули в сторону. Олени дружно бежали, чую близость дыма. И не далее, как через час, мы были на берегу извилистой, с высокими берегами речки, над которой чернели чукотские палатки, а перед ними курился дым от разложенных костров, дрова для которых находят на берегу реки, куда приносит их вешним бурным течением и половодьем, Бог весть, откуда и из каких стран.

Кто поймет мою радость, мое довольство и гордость, когда, подняв олений занавес, я очутился в палатке, ярко освещенной громадным лучом света, шедшим со сковороды, на которой лежал большой кусок оленьего жира, а вместо фитиля, скрученный в виде жгута, полярный мох?!

Вокруг огромных размеров чайника, из которого валил густой пар, сидели на шкурах, поджав под себя ноги, чукчи, женщины и дети.

Молча, не говоря ни слова, я принялся согреть себя кипятком, густо сдобренным кирпичным чаем.

Заметно было, что мои новые знакомцы уже давно занимались чаепитием. Это было видно по тому, что некоторые из них сбросили с себя меховую одежду, оставшись нагими. Но велико было мое изумление, когда разливавшая чай хозяйка спустила и с себя меховую рубаху, обнажив тело по пояс, а когда жар и духота стали нестерпимы и когда и я разоблачился, оставшись в одном белье, она быстрым, привычным движением освободилась от широчайших меховых шаровар, набросив себе их на ноги.

— Водка есть? — спросил меня высокого роста чукча, очевидно хозяин, у которого на выбритой голове торчал клочок волос.

— У меня водки нет.

— Нет? — удивленно и вместе печально переспросил чукча. — Зачем же ты приехал?

— Приехал познакомиться с вами, посмотреть на вас.

— Водка есть, — ответил мой якут. — Я торгую. А он так едет сам, без торговли.

— Ну, давай. Сегодня большой праздник. Сегодня Христос: надо пить и есть.

Он крикнул на одну из своих жен, и та принесла несколько блюд с кушаньями.

Тут была: оленина с моржовым жиром и морскими водорослями или капустой, замороженный костный мозг оленя, олени языки и просто сало и еще несколько изысканных чукотских блюд, а также питье из мясного сока со снегом, который чукчи пьют через просверленную оленью кость или лебяжье крыло. Напиток очень вкусный и охлаждающий.

Тогда мой приятель достал бутылку и подал ее чукче. Долго глядя на посуду с любимым напитком, тот налил рюмку и подал ее мне. Я взял ее в руки, прихлебнул отвратительной жидкости и передал ему обратно рюмку, которую он поочередно подносил всем домашним, не обделив и детей, которые также страстно охочи до спирта, как и женщины.

Когда рюмка обошла весь ряд, когда хозяин выпил и свою долю, долго и молча смакуя вкус любимого напитка, мой проводник налил еще бутылку и церемония угощения опять повторилась с меня. Я наотрез отказался.

— В таком случае, — сказал чукча, — небо затуманилось!

Оказалось, я навлек его гнев.

Он повернулся лицом к стене.

А в это время, когда я еще не успел в своей неосторожности, молодая чукчанка погасила светильню и в юрте воцарился мрак и тишина.

Не знаю, сколько времени мы просидели бы так, если бы якут не посоветовал мне согласиться выпить рюмку до дна, что я и выразил через него.

Тогда, дико вскрикнув, чукча приказал осветить юрту и, держа над головой рюмку, сказал что-то и, в знак примирения со мною, вылил себе на голову водку.

Все: мужчины, женщины, дети были пьяны, в юрте смрад и духота. Голые женщины дико выли песни, очень напоминавшие завывание волка.

Я оделся и вышел.

Пурга прекратилась. Ночь сияла блеском крупных звезд. Небо было так ясно, как только это бывает на севере.

Чудный вид северного сияния приковывал взор своими дивными, холодными чарами.

Но воображение было все-таки далеко отсюда, от этих ужасных мест, диких людей, и рисовало картину более скромной, но близкой и понятной природы, а сердце жаждало общества более близких, дорогих людей...

Я провел у чукчей 10 дней, казавшихся мне вечностью. Все это время они пьянствовали, забросив хозяйство. Женщины не варили пищи, подростки и работники не берегли оленей. Так продолжалось, пока водка не иссякла у торговца.

Отсюда, наняв тунгуса, я на оленях доехал к русскому населению при впадении р. Алазеи в океан и в 10 верстах от него. Но ехать на самый океан я

перерешил, так как самый берег его не представляет ничего интересного: снежные равнины без конца — вот и все.

Океан интересен верстах в 50, во 100 от берега, где начинаются ледяные горы-великаны, да к концу июля, когда береговая линия оттаивает верст на 10.

Не стану передавать подробностей обратной дороги, тем более, что боюсь утомить читателя и злоупотребить его вниманием. Скажу лишь, что, когда, спустя три с лишком месяца я снова увидел лес, я почувствовал нечто, очень схожее с чувством мореплавателя, увидевшего, наконец, землю после долгого созерцания неба и воды!..

OCR: Андрей Дуглас

Очерк опубликован в журнале «Мир Божий» в 1913 году.